

И.А. Бунин, как человек и как писатель, играл особую роль в кругах русской эмиграции, породившей в результате «русского исхода» 1920–21 годов особую культурную среду, которую теперь принято называть Русским зарубежьем. Русское зарубежье 1920–1930-х годов — культурный феномен (культурная эпоха), который столь насыщен религиозно-философскими, эстетическими и собственно литературными исканиями, что каждый раз обращение к его наследию открывает новые грани вечных русских вопросов, которые обсуждались тогда и продолжают обсуждаться в нашу рубежную эпоху.

В Париже, Берлине, Белграде, Софии, других центрах эмигрантской жизни шла активная полемика о прошлом и настоящем России — полемика, неотделимая от предшествующего направления русской мысли. Новые идеи, рождающиеся в этой среде, вызывали интерес и в «большой России» — тогда уже России советской.

Одной из таких живо обсуждаемых и сегодня концепций является *евразийство*. Дать ей разностороннюю оценку невозможно, рассматривая ее вне быта того времени и не задавшись вопросом, какого мнения о евразийских идеалах держались крупнейшие фигуры зарубежной России. Не только и не столько политики и общественные деятели — они выражали свои

взгляды прямо — а писатели, творчество которых по праву является достоянием как русской, так и мировой литературы XX века.

А если говорить о них, невозможно обойти вниманием фигуру Ивана Бунина. Первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. Собеседник практически всех значимых фигур эмигрантского мира — от консерваторов до умеренных социалистов. Автор, в творчестве которого от первых до последних дней в разном виде возникали многочисленные степные образы. Уроженец донского предстепья, много веков служившего рубежом России. И, наконец (что, вероятно, самое значимое), — человек, прекрасно понимающий чужие культуры и способный восхищаться ими, но особенно остро переживающий за свою страну и ее путь.

Естественно, Бунин никак не мог полностью проигнорировать евразийцев и их идейных предшественников. Не выразил с ними согласия, но не вступив в активную полемику (как многие эмигрантские деятели, включая очень близких Бунину людей), он исключительно в своем творчестве представил собственную систему взглядов на евразийский вопрос и роль степного начала для формирования русской души и русской культуры.

Возникновение евразийства связано с русской эмиграцией в Болгарии, с кружком русских философов, в который входили князь Николай Трубецкой, Георгий Флоровский, Петр Савицкий и к которому примыкали некоторые видные ученые, такие, например, как Николай Алексеев. Датой его рождения обычно считается 1921 год, когда в Софии выходит сборник статей «Исход к Востоку», а позже появляется «Наследие Чингиз-Хана» (так называлась брошюра Н.С. Трубецкого, изданная под криптонимом И.Р. в 1924 году), и это самое «наследие» было представлено как потенциально творческое начало русской исторической и духовной жизни. Евразийская идеология, как и скифская (1917–1919), родившаяся как первый непосредственный отклик на мятеж 1917 года, стала «попыткой творческого реагирования русского национального сознания на факт русской революции» (А.В. Соболев).

Общим отличительным признаком этой реакции (при явных различиях) было отвержение европейских форм государственной и духовной жизни. П.Н. Савицкий парадоксально заявлял: «Коммунистический шабаш наступил в России как завершение более чем двухсотлетнего периода европеизации... Велико счастье Руси, что она досталась татарам... Если бы ее взял Запад, он вынул бы из нее душу». Евразийцы остро полемично заявляли о довлеющем над Россией двухсотлетнем «европейском иге», закономерным итогом которого стала, по их логике, революция 1917 года.

И расколовший Русское зарубежье спор вокруг наследия евразийцев — это не только спор о роли ордынского влияния на русскую историю и принадлежности России к Востоку либо Западу. Это была еще и попытка ответить на вопрос: что делать с настоящим и в настоящем? Признать ли все, произошедшее в России, неизбежным и в конечном итоге ведущим к благу?

Истоки евразийской идеологии можно найти в общественно-политической мысли начала XX века. Так, к примеру, один из самых выдающихся публицистов своего времени и сотрудник газеты «Новое время» Михаил Осипович Меньшиков, занимающийся, помимо прочего, и вечной проблемой влияния русского пространства на русский характер, уже в 1902 году изложил свои взгляды на монгольский вопрос: «При татарах Россия пользовалась теми же льготами, какими Канада или Австралия пользуется теперь от Англии. Хан, конечно, считался, как король Эдуард, верховной властью, он посылал ярлыки и басму, (отпечаток своей ступни, символ попирающей власти), но за известную, очень умеренную дань русскому народу была дана полная свобода самоуправления, свобода веры, свобода

сходок, свобода письменности, свобода труда и образования, свобода всех выражений народной жизни, словом — все права, входящие в круг теперешней гражданственности европейской. Татары не только чувствовали, что трудно было бы им уследить за всеми этими вольностями, но просто не хотели подавлять их. Им, как народу свежему и честному, это было непонятно и противно. Наша московская культура сделала шаг назад в этом направлении, но вследствие влияний не внутренних, а внешних».

В этом фрагменте, на наш взгляд, — истоки всей риторики евразийцев Русско-зарубежья и их более поздних последователей, вплоть до Л.Н. Гумилева.

Однако в период Русско-японской войны и последующие за ней годы Россия однозначно представляла в творчестве поэтов Серебряного века как часть западного мира, традиционно подвергающаяся агрессии со стороны Азии: наиболее наглядно выразил эту мысль, пожалуй, Андрей Белый: «Будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка!.. Куликово Поле, я жду тебя!»

С началом Первой мировой войны маятник качнулся в иную сторону.

Россия уже выступает либо как часть восточного мира, либо (что чаще) как отдельная цивилизация, сочетающая в себе Восток и Запад. В поэзии вновь возрождаются и обретают новое, соответствующее военному времени, содержание скифские образы, выдвигающие на первый план азиатское — степное — начало в русском менталитете.

Именно степная тематика евразийства могла, в первую очередь, привлечь внимание Бунина. Как уроженец Черноземья, предстепья, переходящего в степь, он, несомненно, всегда сознавал влияние степного начала на русский характер. Скифская тема, сверхпопулярная в первые годы двадцатого века, также не оставила его равнодушной — в нескольких его стихотворениях можно обнаружить скифские образы. Однако Бунин абсолютно не воспринимал своих современников как наследников скифов. Для него это всего лишь одна из античных культур, по-своему интересная, но безвозвратно ушедшая в прошлое.

Цивилизационное значение степного пространства для России, оценка роли наследия древней Евразии в современности — эти вопросы начали занимать поэта именно в период Первой мировой войны. Бунин всегда был чужд как прямолинейных, так и завуалированных злободневно-политических высказываний, даже в ранний период своего творчества, отмеченный тесной дружбой с народниками. Образы из русской истории, постоянно встречающиеся в его доэмигрантском творчестве, не были буквально связаны с «днем сегодняшним», однако подсознательно читатель обнаруживал в произведениях Бунина не только осмысление событий прошлого, но и тревогу за настоящее и будущее.

Наиболее характерны здесь именно 1915 и 1916 годы, когда Буниным был создан ряд стихотворений, вдохновленных русским эпосом и житийной литературой. Как раз в этот период у Бунина наиболее полно проявляется тема монголо-татарского нашествия и последующего ига. Тема *русской смуты* — прошлой и грядущей — одна из самых главных в творчестве Бунина военных лет, и вторжение монголов, как начало разрушения древнерусского мира, в тот момент особенно занимало писателя. В этом разрушении многие современники Бунина видели гибель отжившего, начало новой эпохи, синтез Востока и Запада на территории Русской равнины.

Но отношение самого Бунина к эпохе ордынского владычества — абсолютное отрицательное. К монголам, как народу, и Азии в целом Бунин не испытывал ни малейшей неприязни. Так, в своих дневниках он отмечал монгольские черты во внешности Чехова — безмерно уважаемого. Любовь Бунина к Востоку — в самом широком смысле слова — доказывается всем его творчеством. Бунин признавал огромное влияние пространства на историческую судьбу России, тягу русского че-

ловека к простору, его любовь к равнинным пейзажам. Казалось бы, от этой любви совсем недалеко до признания идеи слияния России с Востоком. Однако каждое обращение Бунина к «наследию Чингиз-Хана» свидетельствует совсем об ином.

В отличие от идейных предшественников евразийского течения и литераторов, вдохновленных их идеями, Бунин отказывался видеть в монгольском периоде хоть какие-то положительные черты. Не будет преувеличением сказать, что в этом отношении он следовал за А.К. Толстым, бывшим для него одним из образцов как эстетически, так и идеологически: в дальнейшем, в эмигрантские годы, Бунин не раз отзывался о Толстом как об одном из самых значительных поэтов России и противопоставлял его творчество евразийской по духу литературе своего времени. Бунин, как и А.К. Толстой в свою эпоху, вовсе не считал Русь домонгольскую отжившей и непременно обреченной на гибель. На этом этапе, можно лишь предположить, Бунин протестовал против поглощения Руси Востоком, растворения в нем. И пыл поэта может быть объяснен яростным отстаиванием национальной самобытности — особенно в переломные эпохи.

Интерес Бунина к наиболее острым, узловым моментам истории России, среди которых, конечно, и монгольское нашествие, ярко отражен в стихотворении «Шестикрылый», созданном в, пожалуй, еще более острый момент — в 1915 году. Оно, что обычно нехарактерно для Бунина, получило подзаголовок: «Мозаика в Московском соборе». Данный подзаголовок, безусловно, служит для уточнения контекста и создания у читателя ассоциаций, необходимых для понимания. Его содержание составляют два отделенных друг от друга временем трагичных исторических события, свидетелем которых становится серафим, изображенный на кремлевской фреске. Стихотворение четко делится на две части, первая содержит образы XIII века, вторая — XVI. Первым событием является нашествие Батыя на Русь и разорение Москвы, тогда далеко еще не столицы:

Алел ты в зареве Батыя —
И потемнел твой жуткий взор.
Ты крылья рыже-золотые
В священном трепете протер.

Цветопись этой части стихотворения совпадает с цветописью самой мозаики, ее рыже-золотые тона выступают напомниманием о пожаре. Однако композиция стихотворения указывает на то, что впереди Москву ожидали еще более жуткие события:

Узрел ты Грозного юрода
Монашеский истертый шлык —
И навсегда в изгибах свода
Застыл твой большеглазый лик.

Монгольское нашествие и правление Ивана Грозного здесь предстают в одном ряду. Возможно, Бунин и здесь последовал за А.К. Толстым, трактующим Московское царство доромановского периода как азиатское, частично наследующее Орде, и осудившим Ивана Грозного за излишнюю жестокость (отметим, что в чем-то сходные представления об этом периоде, но с иной оценкой, можно обнаружить и у философов-евразийцев).

Но присутствует здесь и еще один смысл: внутренние потрясения предстают здесь более ужасными, чем иноземные вторжения. Возможно, именно этот смысл является доминирующим — от зрелища казней лик серафима замирает уже навсегда. Данные смыслы были вполне ясно восприняты современниками Бунина. Так, Иван Шмелев в личном письме к Бунину восклицал: «Чудесно, глубоко, тонко. Лучше я и сказать не могу. Я их выучил наизусть. Я ношу их в себе. Чудесно! Ведь в «Шестикрылом» вся русская история, облик жизни!»

Идею свершившегося синтеза Руси и Орды (в том или ином виде имевшую место и в действительности) Бунин также воспринимал резко отрицательно, что видно по созданному им в том же 1915 году стихотворению «Скоморохи». Образ боярина из обрусевших потомков ордынской знати на службе русского царя дан в откровенно комических тонах, подчеркивается его чужеродность:

Сел он, батюшка,
В желтом стеганом халате,
В ярь-мурмулочке.
.....
Глаза узкие, косые
Засветились.

Потомку ордынских вельмож, оторванному от живой среды, противопоставлены олицетворяющие исконно-русский мир скоморохи — традиционно гонимые, но вместе с тем воплощающие в себе народное сознание.

Стихотворение 1916 года «В орде» (впервые опубликованное за год до большевистской революции, в октябрьском номере журнала «Летопись» под заглавием «Орда»), удивительное по силе художественных образов, так же, как и созданное годом ранее стихотворение «Шестикрылый», можно рассматривать как предсказание грядущих катаклизмов, все более очевидных на фоне непрекращающейся войны и нарастающего недовольства в обществе. Лирический герой, наделенный даром поэтического предвидения и знания будущего, наблюдает за восточной женщиной, вскармливающей грудью ребенка, которому предназначено стать великим завоевателем:

Ты, девочка, тихая сердцем и взором,
Ты знала ль в тот вечер, садясь на песок,
Что сонный ребенок, державший твой темный сосок,
Тот самый Могол, о котором
Во веки веков не забудет земля?

Неизвестно, имел ли автор, создавая этот образ, в виду Батюга, покорившего своей властью русские земли и осуществившего военный поход на Запад, «к последнему морю» или же кого-либо иного из многочисленных потомков Чингисхана. Но конкретный прототип здесь и не важен, это предельно обобщенный образ.

Необычен здесь материнский образ, он получает несколько иную окраску. Героиня предстает подобной Богоматери, однако в ее сыне нет черт Спасителя, но скорее — черты его антипода:

Что я не смиреннее их —
Аттилы, Тимура, Мамаю,
Что я их достоин, когда,
Наскучив таяться за ложью,
Рву древнюю хартию божью,
Насилую, режу, и граблю, и жгу города?

В этих строках не только предчувствие катастрофы, созвучной с теми, что предстали перед обществом рубежа XIX–XX веков в трудах Владимира Соловьева, но и осуждение цивилизации, не сумевшей истребить в человеке варварство. Те черты, которые в русской душе обычно приписывались влиянию «степного» начала, здесь осуждены особенно резко и бескомпромиссно. Характерно, что именно это стихотворение Бунина при выходе подверглось цензурным сокращениям — была исключена последняя строка процитированного выше фрагмента.

Столь редкое для дореволюционного творчества Бунина цензурирование не составляет никаких сомнений в том, что стихотворение «В орде» было создано как социальный прогноз.

Характерен выбор фигур степных полководцев, которых перечисляет Бунин. В одном ряду с Аттилой и Тимуром (Тамерланом, всемирно известным завоевателем, к образу которого Бунин будет обращаться и в дальнейшем своем творчестве) стоит и Мамай. Не бывший ханом, он известен своей неудачной попыткой вернуть контроль над Московским княжеством и поражением в Куликовской битве в 1380 году, за которым вскоре последовала и его гибель. Отсюда пошло народное выражение «как Мамай прошел», описывающее картину упадка и разрушения. Тем самым, можно предположить, что реальные масштабы личности степных владык здесь не имели значения. Возможно, объединяет их лишь разрушительное начало, которое, по мысли Бунина, не погасало и в душе человека XX века, становясь все ярче в преддверии кризисных моментов. И наступление такого момента Бунин уже прямо прогнозирует в еще одном стихотворении 1916 года с выразительным названием «Канун», содержащим следующие строки:

Вот встанет бесноватых рать
И, как Мамай, всю Русь пройдет...
Но пусто в мире — кто спасет?
Но Бога нет — кому карать?

Здесь уже не просто предостережение, но практически прямое пророчество!

Вновь к теме монгольского нашествия Бунин вернется уже в эмиграции в 1920-е годы — как раз на фоне полемики Русского зарубежья вокруг евразийского вопроса. Актуальность споров усиливало и то, что часть эмиграции воспринимала происходящее в это время в России как новое иго, соразмерное ордынскому. Эта полемика кипела все 20-е годы, начавшись почти сразу же после появления «Исхода к Востоку» и затронув почти все знаковые фигуры эмигрантского мира — Петра Струве, Федора Степуна, Сергея Ольденбурга, Льва Карсавина, Ивана Ильина, Зеньковского, Николая Карташева и других.

Статья же, наиболее полно и развернуто выражающая отношение Бунина к евразийству, была создана в 1925 году, в самый разгар полемики и была приурочена автором к 50-летней годовщине смерти А.К. Толстого. Резкими выражениями в адрес советской поэзии тех лет Бунин, вполне вероятно, маскировал смысл своей статьи — ведь адресована она была именно эмигрантам, для значительной части которых поворот к Востоку и возвращение в СССР были явлениями одного порядка. «В страшной современности, где возобладал «киргиз», не найти спасительных указаний, русское слово почти умолкло в этой печенежской степи, где высится Тмутараканский Болван, где «лисы лают на русские щиты» (как лают они, увы, и в эмигрантском стане), — писал Бунин. — При всей своей ничтожности, современный советский стихотворец, говорю еще раз, очень показателен: он не одинок, и целые идеологии строятся теперь на пафосе, родственном его «пафосу», так что он, плут, отлично знает, что говорит, когда говорит, что в его налитых самогоном глазах «прозрений дивный свет». При всей своей нарочитости и зараженности литературщиной, он кровное дитя своего времени и духа его. При всей своей разновидности, он может быть взят за одну скобку, как кость от кости того «киргиза», — как знаменательно, что и Ленин был «рожа», монгол! — который ныне есть хозяин дня». «Монгол», безусловно, не буквалан и здесь. И в своей знаменитой речи «Миссия русской эмиграции» он выражал свою позицию в следующих выражениях: «Говорили — скорбно и трогательно — говорили на древней Руси: «Подождем, православные, когда Бог переменит Орду». Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый «похабный» мир с нынешней Ордой».

Но Бунин, способный воспеть «горькую мудрость» Темира Аксак-хана (уже упомянутого Тамерлана в своем рассказе «Темир Аксак-хан»), отказывался видеть в российском государстве наследника империи Чингисхана (определение

Петра Савицкого) с той же категоричностью, с какой отрицал примирение с советским строем.

Да, Бунин признавал влияние некоего «кочевого» начала на русское сознание, и хотя он описывал вытекающие из этого недостатки, едва ли он видел в нем только лишь темные стороны. В конце концов, в самом по себе стремлении к простору едва ли есть что-то плохое. И кочевники и странники, которых так много в прозе Бунина, описаны им с несомненной симпатией. Однако же в революционных по своей сути (этого нельзя отрицать) идеях евразийцев Бунин видел покушение на крайне важные для него категории времени и памяти: «В степи, где нет культуры, нет сложного и прочного быта, а есть только бродячая кибитка, время и бытие точно проваливаются куда-то, и памяти, воспоминаний почти нет».

Вероятно, в то время Бунин был не вполне справедлив к евразийству в целом, ведь данное течение далеко не ограничивалось революционными идеями. Поздние евразийцы и их идейные сподвижники, включая и Льва Гумилева, стремились показать именно созидательную роль степного мира.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны и особенно сразу после ее окончания, Бунин, согласно одной из версий, серьезно колебался, думая вернуться в СССР, но в итоге ответил отказом.

Именно к этому периоду относится его рассказ «Ахмат» (1944), ассоциативно связанный с финалом противостояния Руси и Орды. Герой рассказа — купец из русского предстепья, широкая натура, не знающая границ как во грехе, так и в покаянии. Бунинский купец сравнивает себя с некогда жившим «окаянным» ханом Ахматом — «великим душегубцем». Так же как Русь долго и мучительно преодолевала власть Золотой Орды и добивалась полной независимости, по мысли Бунина, и современный ему русский человек, живущий в XX веке, вынужден преодолевать свою «окаянную» природу.

Пожалуй, наиболее схожа с позицией Бунина по евразийскому вопросу позиция эмигрантского историка Е.Ф. Шмурло. В своем трехтомном «Курсе русской истории» Шмурло утверждал, что русское государство во всех его ипостасях было европейским по духу, но при этом постоянно соприкасающимся с Азией, в особенности, с ее кочевым миром и испытывающим его влияние. Это, по его словам, привело к раздвоенности исторической судьбы России «на всем пространстве ее тысячелетней истории». Русский народ был вынужден «жить двумя жизнями», самостоятельными и непримиримыми.

Эта роковая раздвоенность удивительно созвучна тому, что выражал в своем творчестве Иван Бунин. В душе многих его героев присутствует «внутренний кочевник», остро ощущающий пространство и находящийся под его властью. Но, как и Шмурло, Бунин твердо настаивал на принадлежности России к христианскому Западу и с наслаждением цитировал строки А.К. Толстого: «Туча монгольская прошла над нами, но это была лишь туча, и черт должен поскорее убрать ее без остатка. Нет, русские все-таки европейцы, а не монголы».

Эти взгляды Бунина и обусловили его равнодушие к евразийству как художественному и философскому направлению, тем более — прямое отторжение евразийства как политической идеи. Там, где эмигрантские философы искали синтез Востока и Запада, Бунин видел роковую двойственность, преодолевать которую по-своему должно каждое поколение русских людей.